

таные в другом направлении, создавшие свои цели, могут чувствовать иначе; у них как-то нет пристрастия и уважения (?) к культурной стороне Европы, даже к ее политическим идеалам... В этом отношении они... с одной стороны, выработали... национальную самоуверенность на почве народничества и более спокойно смотрят на разложение России и реакцию, как на явление законное с точки зрения неомарксизма...» (Т. Фарафонтова. «Из бумаг сибирского патриота». — «Восточное обозрение», 1902, № 148).

Все это звучит как авторский комментарий к «психологическому очерку» о своих парижских переживаниях. Ядринцев не случайно так прозрачно и уважительно говорит о А. И. Герцене и М. А. Бакунине и с явным сарказмом о европейских теоретиках, которых олицетворил в образе Бланшо; деятельность Бланшо недаром сближена с интересами французских лавочников, мечтающих о реванше с помощью России (в те годы агрессия Германии против Франции была предотвращена благодаря позиции России, закрепленной потом франко-русским договором). Н. М. Ядринцев попал во Францию в дни, когда республика тяжело переживала разоблачение генерала Буланже, до поры маскировавшего свои монархические взгляды социалистической фразеологией. Все это и определило господствующую тональность рассказа — полнейшее разочарование в современном для автора состоянии как русского, так и европейского общества.

В ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЯХ

(Из путешествия в Алтай)

Наступила осень, а мы, все еще не кончив путешествия, обогнув хребты Алтая и пройдя по Чуе, пробирались к югу. С реки Чуи и высокого плоскогорья к ее вершине мы пошли по речке Чьгон-Узуну. Это была совершенно дикая местность. Поднимались мы вверх по высоким горам Чуйского хребта. Помним, когда в первый раз открылся нам вид на Чуйские Альпы из цветущей Курайской долины. Перед нами была панорама Чуйской степи; скалы и хребты, спускаясь в долину, были покрыты лесом, местами со скал струились водопады. Вдали была мягкая зелень лугов. Когда мы спустились к этой степи, мы почувствовали тепло, а вдаль, как бы контрастом с этой зеленью и теплом, возвышались величественные белые вершины Чуйских Альп, сплошь покрытые снегом. Мы видели, чувствовали эти снега, но не ощущали их ледяного дыхания, вокруг нас все цвело, мягкий нежный воздух ласкал, а ледяные громады служили только прекрасным аксессуаром и декорацией к открывшемуся пейзажу.

Мы поднимались на эти хребты все выше и выше. Горная речка, извиваясь, неслась с шумом по камням, обегала, подмывала скалы и, извиваясь, снова уходила вдаль. Помню, мы поднялись на перевал ранним утром в начале августа. Холод давал себя чувствовать, было 2°; кое-где, под копытами лошадей, в ущелье, тре-

щала замерзшая льдистая поверхность, лужицы ущелья были обсыпаны снегом, как пухом, а дальше, за горою, стояла огромная сахарная голова снежной сопки. Поднявшись на хребет, ежась от холода, мои спутники испытывали нетерпение, пока я производил наблюдения над anerоидом (барометром). А вокруг открывалась дивная панорама — у подножия виден был спускающийся к долине хребет, а там открывалась степь верст на сто, представляя целую карту и протяжение пройденной реки со всеми извилинами; направо и налево высились скалы, ущелья, дикие, угрюмые, нависшие, а за ними белые снежные вершушки гор, вечно покрытые снегом. На них были то розовые, то синеватые блестящие, свойственные морозному утру; воздух был свеж и прозрачен.

На вершине перевала стояло «обо», то есть гряда камней, набрасываемых инородцами, шаманистами и буддистами. Иногда в них воткнут сухой куст, увешанный маленькими цветными ленточками, пучками конского волоса, кусками материи, что придает ему оригинальный вид украшенной елки. Эти обрывки и ленточки развеваются по ветру. Подобные обо встречаются на всех перевалах, перекрестках. Эти жертвенники с первого раза загадочны и необъяснимы для путешественника. Впоследствии он привыкает встречать их на всем пространстве инородческой пустыни. Обо должны оградить путника от бед, несчастий и злых духов, которые могут причинить ему зло, заставить сбиться с дороги и погибнуть в этих пустынях. Инородец, монгол и алтайский калмык одинаково с благоговением приближаются к этим насыпям и делают от себя приношение, то есть каждый прикрепляет ленточку или обрывок от халата. Мы также, подъезжая к этому обо и не желая нарушать обычая и подчиняясь общему благоговейному настроению в пожелании благополучного пути, подвесили к деревцу несколько гарусников, оторванных с дорожного шарфа.

Эти обычаи, а также разные приметы, пустые, вызывающие улыбку человека развитого, стоящего вне языческого, пантеистического и мифологического мирозерцания, получают в пути и для него какую-то притягательную силу: окружающая среда как будто действует и на него. Следя за своими ощущениями, постепенно удаляясь в пустыни, я чувствовал, что это отдаление от людского мира, это постоянное сосредоточение внимания на одной природе как-то подчиняло ей, заставляло чувствовать всю ее внушительность и подавляло и в то же время сближало, — словом, делало вас пантеистом. Я помню это ощущение, когда изо дня в день идешь и видишь кругом только гигантские горы, хребты, скалы. Понемногу они кажутся какими-то чудовищами, и, когда утомленный взор ваш скользит по их мощным контурам среди вечернего мрака, вас охватывает невольный трепет и вам кажется — вот-вот эти чудовища пошевелинутся, как гигантские киты. Еще более вы чувствуете внушительность и таинственность этих гор, когда входите в мирозерцание окружающих дикарей, придающих им особое значение, дающих им имена, рассказывающих целые эпопеи из жизни этих мертвых громад о том, что они

были богами, богатырями, а теперь застыли. Надобно видеть благоговение инородца перед этими горами во время его жертвоприношений и торжественных обрядов, иногда в темную ночь, когда горят таинственные костры в юртах, а дикий шаман в перьях и с сотнями змей (ремней) и побрякушек на своей мантии, с огромным бубном в руках, кружится, мечется и в диком экстазе, пролагая дорогу духам, выскакивает из юрты и обращается с заклинанием к этим горам, а они высятся перед ним темные, грозные, недосыгаемые, облитые лунным сиянием.

День за днем мы привыкали к пустыне и втягивались в нашу жизнь. Перевалив Чуйский хребет, мы взошли на другую речку по ту сторону хребта. Это была речка Кора-Кем, подобная той же, которую мы миновали в истоках, она напоминала горный ручей и брала начало в вечных снегах гор. Цвет ее, как всех подобных речек, по нашим наблюдениям, был синевато-белый, почти молочный. Это зависело от пород сланца, который они размывали, и, может быть, от перемолотых морен, так как среди этих вечных снегов, наверное, были и ледники.

Теперь мы спустились вниз к долине Аргута, значительной реки, в которую впадал Кора-Кем. По мере спуска становилось теплее: мы сняли походные полушубки и плащи и ехали в одних пальто. Когда мы спустились в долину Кора-Кема при его впадении, то после Чуйских снегов на нас повеяло опять теплом. Долина Кора-Кема и Аргута (или Архвета по-туземному) имела цветущий характер. Береза, тополь, черемуха и даже облепиха теснились по берегам и составляли веселые группы зелени. Вид ледяных гор вдаль производил то же впечатление, как и в долине Чуи. Мы стали лагерем на берегу среди роскошных тополей. (Самая речка поэтому русскими названа Тополевкой). Развесистые тополи с большими тенями придали совсем другой характер долине; они уже не напоминали пустыни, а веяли чем-то знакомым. Была теплая лунная ночь. Эти тополи с перебегающими тенями, эта мягкость воздуха теперь напоминали другие сады и переносили в другую обстановку. Вот-вот этот сад деревьев, кажется, оживится, блуждающие тени приняли фантастические формы, тихо трепещет лист, откуда-то донеслись отрывочные звуки оркестра. Но минутная иллюзия исчезает: дикий Аргут шумит, играя и звеня по камням. Все, что близко, дорого вам, все, что показалось вам знакомой музыкой, от вас далеко, далек этот чарующий мир звуков, этот волнующийся живой мир! Вокруг вас немая пустыня...

Оторвавшись от своих дум, я слышал, как там, за палаткой, наши переводчики и проводники оживленно беседовали с приезжими теленгитами-инородцами, хозяевами этой долины. У них пылал веселый костер, они угощали чаем приезжих. Слышались шум, смех, началось взаимное угощение «айраком», кумысом, а потом послышался какой-то струнный инструмент, и затем сильный баритон начал издавать какие-то странные звуки, кончавшиеся мерным рецитативом. Я вышел из палатки. Оказалось, что в

числе гостей был сказочник, и у него инструмент, подобие гитары. Теленгиты возвращались с праздника, были навеселе и, натолкнувшись на нас, сделали визит и завязали знакомство.

Посмотрев на сидящих, поджав ноги, инородцев, озаряемых светом костра, я обратил внимание на сказочника. Это был сильно выпивший и раскрасневшийся инородец с широкими скулами, узкими глазами и, вдобавок, косою. Скосившись, он смотрел и на инструмент. Домбра звучала, но не делала никаких переливов; ясно, что это был аккомпанемент. Он начинал басом тянуть одну ноту, а потом вдруг переходил к целому потоку местных стихов, оканчивавшихся певучей рифмой. Долго я слушал, а инструмент все звучал, и рифмованные строфы сыпались и сыпались.

О содержании сказки я узнал от переводчика следующее. Жил когда-то богатырь Алтаин-Саин-Салам, и был у него конь, Айкым-Сайкым. Жил богатырь Алтаин-Саин со своею сестрою Горьголой-Маргон; поехал он раз на охоту добыть для нее дичи, но упал с лошади, зашибся и умер. Прибежал конь Айкым один домой. Сестра стала спрашивать коня, где ее брат, и тот сообщил ей, что богатырь погиб. Заплакала Горьголой-Маргон и поехала разыскивать его труп; найдя его, она положила его кости в юрте, а сама оделась в его платье, взяла лук и стрелы и, назвавшись его именем, поехала к Кен-Хану, царю-солнцу. Приехав в мужском платье ко двору хана, она увидела множество юношей, соперничающих между собой в стрельбе из лука. Они пригласили приехавшего богатыря принять участие в игре. Девушка принимает предложение и, натягивая стрелу, говорит, что не она пускает ее, а пускает ее богатырь Алтаин-Саин, и стрела ее летит дальше всех. Хан спрашивает: кто это выстрелил? Она отвечает: Алтаин-Саин-Салам. После этого она едет к Ай-Кону, царю-месяцу. Здесь также она с окружающими юношами соперничает в стрельбе, и также ее стрела летит дальше всех. Здесь она себя опять называет именем брата и у обоих ханов высватывает дочерей-красавиц. Ханы отдают дочерей за приезжего богатыря, и вот она везет теперь своих невест домой. Дорогою невесты начинают подозревать, что это не мужчина, а девушка, и, чтобы узнать, верно ли их подозрение, делают следующее: кладут во время сна Горьголой-Маргон уголь ей на грудь, говоря, что если она девушка, то проснется, а если богатырь-мужчина — так тот сбросит уголь и повернется на другую сторону. Горьголой-Маргон выносит испытания и не обнаруживает себя. Когда они приехали, Горьголой-Маргон, однако, исчезает, невесты приходят к юрте Алтаин-Саин-Салама и находят только мертвое тело. Они стоят с изумлением перед этим богатырем и, наконец, решаются оживить его. С помощью живой воды им это удается. Проснувшийся Алтаин-Саин зовет сестру, но она исчезла, превратившись в белого зайца и удалившись в поле. Она оставила любимого брата с красавицами-невестами, возвратив его к жизни.

Такова была эта алтайская сказка: целый эпос, целая поэма,

целая мифология. Здесь мир, природа, звезды и небо иногда одухотворены жизнью, как и животные. Неправду рассказывают, что дикарь-инородец поет только то, что видит, и что он беден представлениями. Нигде древний миф долее не сохраняется, как здесь. Здесь все поддерживает еще общение с природой, за неимением иной жизни, здесь живут целые предания старины. К сожалению, за незнанием языка, мы не можем понимать этих песен и сказок. Здесь есть свои герои, ханы, целые драмы, романы и идиллии первобытного пастушеского народа; особенно хороши сказки о животных.

Не имея возможности быть в числе слушателей и проникнуться этим своеобразным миром, я оставил наших людей и переводчиков, чтобы после у них расспросить о сказке. К полночи домбра замолкла. Гости собрались уезжать, довольные угощением и проведенным днем. Я услышал только дикое гиканье и топот лошадей. Несколько минут еще раздавались неистовые возгласы и га-лоп подгулявших гостей.

По отъезде теленгитов я услышал разговор наших людей и переводчика с проводником.

— Ишь, орда как разгулялась... кумысу натрескалась!

— Пьян, пьян, качается, а на лошади держится...

— Никогда не свалится.

— Ни боже мой, а другой притворится, чтобы обмануть да ночью подкрасться...

— Это как есть! С ними ухо остро держи, как раз лошадей отгонят, воры — одно слово.

— А то еще, шельма, пулю пустит. Вот недавно тут с Бухтармы мужики ездили, скот разыскивали. Три дня, рассказывают, за ними орда следила, а раз вечером, как огонь разложили, вдруг с горы палат, пуля, говорят, мимо ушей проскользнула... а один с ними уже не встречайся — покончат, тут недавно киргиза одного убили, слышал?

— Слышал.

Я привык дорогой к этим рассказам; у теленгитов была какая-то вражда с бухтарминцами, и они постоянно угоняли скот друг у друга. Слышал я не в первый раз и о нападениях, и о пулях, летящих в костры, но оставался совершенно равнодушен к этим рассказам. Мне казались они преувеличенными враждой, раздутой взаимными обидами. Я о себе не думал, мы были окружены проводниками и шли с людьми, у нас было и оружие, были приняты и предосторожности, и лошадей мы сторожили. До сих пор бог миловал, стоит ли предаваться страхам?

Под влиянием дневного утомления я сейчас же заснул. В путешествии сон крепок, воздух и моцион уничтожают всякую нервность. Только в городе, дома, среди покойной обстановки, человек расстраивает себя так, что тревожится и не спит ночей и просыпается от шороха мыши. В путешествии это немислимо. Наговорившись об опасностях, мои люди также спали, как мертвые. Проспали и эту ночь.

Как на грех, наутро не досчитались двух лошадей, хотя на караул и оставили одного из ямщиков или жожаков, но он, видно, проспал и проглядел. Потеря лошадей была лишением; лошадей надо было разыскивать. Началась суетня. Думали, что лошади, распутовавшись, куда-нибудь ушли. Люди объехали долину, но поиски были тщетны.

Наш переводчик и конюх, люди бывалые и недолголюбивавшие калмыков, ужасно сердились. Делались разные объяснения, но, главным образом, по русскому обычаю, гнев срывался в брани. Не найдя лошадей и не думая винить себя за оплошность, наши конюхи и проводники не столько думали о том, как поправить дело, то есть где купить лошадей (дело это им казалось второстепенным), а начали придумывать, как бы отомстить теленгитам.

Обыкновенно в этих местах, как мы убедились из рассказов на Бухтарме, обиженный, не долго думая, в подобном положении прибегает к мести и самоуправству, то есть, не отыскав своего скота, едет и отгоняет чужой скот. Тот, в свою очередь, опять отправляется себя вознаграждать. У соседних инородцев и родов образуется, таким образом, вражда, месть и целая «баранта». Отчасти таким приемом заразились и русские соседи.

Наши люди, впрочем, не решились бы делать насилья,— это было бы неблагоприятно и опасно в нашем положении; кроме того, им бы никто этого не дозволил, но они, так сказать, утешали себя, фантазируя. Затем стали придумывать наказания вору (непойманному).

— Ну, попадись он, ах, если бы попался, задали бы ему!..

Начали изобретать, что бы они ему задали. Нечего говорить, что наказания придумывались самые жестокие. Разгоряченные люди, да еще в пустыне, среди инородцев, не стесняются в изобретении варварских способов мести. Дивиться им нечего, если вспомним расправы у нас внутри России с конокрадами. А в окраине, в пустыне, что можно понаделать!

Болтовня наших людей была совершенно, однако, безвредна в данном случае, потому что наказывать, в сущности, было некого. Сытно закусив, наши люди еще раз отправились на поиски, так как не были уверены собственно, отогнали ли у нас лошадей или они сами просто забрели куда-нибудь.

Предоставив людям искать их, я ушел в свою палатку и занялся дневниками. К вечеру я решил проехать на Аргут и осмотреть местность. Люди еще не возвращались с поисков; вероятно, они заехали в какие-нибудь юрты теленгитов. Я взял лошадь и поехал по берегу Аргута; помню, где-то я перешел через проток вброд и проехал еще версты две. Берега были живописны, зеленые островки, быстро несущаяся горная река, от окружающего безмолвия веяло спокойствием пустыни. В таких местах человек среди полного уединения бывает торжественно-грустно настроен.

Я обращал внимание на окружающие хребты, в которых желал ориентироваться. На востоке виднелись оставленные Чуйские

Альпы, а на юго-западе выступали новые громады, отвесно спускавшиеся к Аргуту, дико шумевшему по ущельям. За этими отвесными скалами видны были новые снежные вершины. Это был Катунский хребет с ледниками, поднимающийся на 12 000 футов. Аргут делает прорыв между горами и несет его с страшной быстротой. Ущелья его имеют дикий вид и носят название у Риттера «Аргутские бездны». Действительно, в дальнейшем пути, карабкаясь по тропинкам, мы видели эти бездны.

Среди крутых спусков, на страшной глубине среди скал, неслась река с неудержимой силой, пенясь, ворочая камни и оглашая воздух точно раскатами отдаленного грома. А люди ползли по тропинкам, как мухи, скромно, осторожно, сознавая там все свое ничтожество. Только привычные, осторожные и умные горные лошади спасают в этих местах всадника.

На сей раз я был на берегу, где расширялась густо поросшая зеленью долина. Остановившись, я залюбовался дальними снежными горами. Я смотрел на них, как в Швейцарии смотрят на Монблан, Юнгфрау. Они казались издали белыми пиками, но достаточно было посмотреть на них в подзорную трубу, а еще лучше в телескоп, чтобы понять, что эти пики неимоверно громадны, что около них целые долины, ущелья, целые поля, покрытые снегами, нависшие скалы, обвалы, трещины. Направив подзорную трубу, я изучал эти горы и не думал ни о чем. Вдруг, обернувшись, я заметил шагах в двухстах фигуру: это был инородец; он стоял и сторожил меня; сзади у него была рогатая винтовка.

Первое чувство, которое явилось у меня, это обратить внимание на свою лошадь,—она стояла привязанной в нескольких шагах на чамбуре. Я кинулся к ней и стал настороже. Тревоги этого дня вдруг дали себя почувствовать, вдруг припомнились и все рассказы наших проводников об ехидстве теленгитов, об их коварстве, дерзости и опасностях. Я был совершенно один. Бог знает, что это был за человек, какие его намерения. Не садясь на лошадь, но держа ее в поводу, я стал наблюдать за ним. Он, постояв, начал тихо подвигаться ко мне, хотя я не прямо ехал, а как будто к берегу. По мере его приближения у меня явились разные соображения, но чувство ли страха, чувство ли самосохранения, нервное ли настроение заставили меня удостовериться, при мне ли револьвер. Он лежал у меня в сумке. Для этого человека я должен был казаться безоружным,—ружья со мной не было, потому что отправлялся я не на охоту, а на экскурсию. Видимо, встретившийся это заметил, но все-таки в нем видна была нерешительность. Он то подвигался, то останавливался ненадолго, и мы измеряли друг друга глазами.

На всякий случай, из предосторожности, чтобы не быть застигнутым врасплох, и не зная намерений показавшегося калмыка, я сел на лошадь, вынул из сумки заряженный револьвер и переложил его в ближайший карман. Всадник двигался вперед, и через несколько минут мы поравнялись. Он произнес какое-то приветствие вроде «узень!» и начал что-то спрашивать.

Я молча показал дорогу к лагерю. Он также махнул рукой. Я его рассматривал: это был теленгит, крупный, плотный, с монголообразным видом, в остроконечной полукитайской шапочке, на поясе у него был нож, за плечами винтовка, как у охотников. Враждебных намерений он пока не обнаруживал, но тем не менее казался мне подозрительным даже в своей болтовне, он очень пристально присматривался ко всему и особенно к блестящей подзорной трубе, висевшей у меня на перевязи. Не скрывая любопытства, раз даже он прикоснулся рукою к ней и спросил:

— Мултук? (Ружье).

Я отрицательно покачал головой, но после сообразил, что сказал правду вовсе не в своих интересах. Пусть бы он лучше остался при мысли, что это ружье.

Однако охотник этот не отставал от меня. Я заметил даже с его стороны какую-то навязчивость. Он что-то говорил, что-то указывал. Я торопился и осматривал дорогу. Сначала я ехал совершенно безотчетно, но теперь у меня явилось сомнение, так ли я возвращаюсь. Я искал знакомых признаков, искал протока, через который переезжал, но все более и более терялся, передо мной шумел довольно бурно Аргут, и берега его были довольно высоки для переправы. А переправа великая вещь! Мною понемногу овладело чувство тревоги. Мне предвиделась опасность заблудиться, и это чувство осложнялось и усиливалось от присутствия подозрительного спутника. Состояние духа стало напряженное и тревожное. «Враг это или мирный человек?» — шевелилось в уме. Что ему нужно, зачем он едет рядом со мной?

Когда два человека, неизвестных друг другу, в пустыне, где люди иногда выслеживают друг друга с самыми злыми намерениями, понятно, что чувство опасения и недоверия готово перейти при первом намеке в положительно враждебное, неприятельское. Не знаю, ощущал ли это мой спутник, но я это ощущал. Вот он поднял руку, нагнулся к седлу; что вынимает он? не нож ли? Нет! Он достал трубку и начал высекать огонь. Пыхнув раза два, он предложил мне; я отказался. Для меня было ясно, что спутник старался показать мирные, дружеские намерения, но я не доверял ему. Я боялся попасть на удочку, боялся, что он хитрит. Опасность, при лицемерии врага, под прикрытием коварного мира только усиливается и еще более возбуждает тревогу. Злодейский удар его бывает еще опаснее.

А солнце закатывалось, приближались сумерки, скалы становились темнее, шум бурной реки суровее и грознее, а я все искал и не находил переправы. Что, если он заведет меня по пустынному берегу вдаль, а затем столкнет с обрыва, собьет с лошади, так что не успеешь опомниться, а потом нанесет удар ножом. Это — дело минуты. Вдруг мы остановились оба у узенькой тропинки под скалою. Этой тропинки я не помнил, и для меня открылось, что я еду будто не туда, меня охватил холодный трепет, я чувствовал ту неприятную потерянность, которая так опасна для равновесия духа; такая потерянность усиливает

тревогу и расстраивает целесообразность поступков. Не показывая вида, что я волнуюсь, я продолжал двигаться. Приходилось проезжать между рекою и утесом в одиночку. Здесь мы остановились. Я ждал, что будет делать мой спутник? Он выжидал, казалось, что я поеду вперед, но я этого-то и опасался. Здесь именно могла предвидеться опасность от нападения сади. Он, видимо, желал, чтобы я ехал вперед, махал рукой, но я упорно отказывался. Он попробовал пугнуть моего коня и замахнулся нагайкой. Это усилило еще более мою подозрительность, я стал пятить мою лошадь и закричал на него.

Видно, он понял мое неудовольствие. Постояв с минуту, он улыбнулся, что-то заболтал на своем наречии, поехал вперед, и я услышал его грубый хохот. Он произвел на меня теперь тяжелое впечатление: среди скал, в сумраке, среди зловещих ощущений этот смех мне показался каким-то угрожающим, мефистофельским холодным смехом. Не ледяной ли это смех убийцы, уверенного, что жертва не уйдет от него?

Стиснув револьвер, я двигался в нескольких шагах от него, готовый спустить курок при первом его угрожающем движении. Мы миновали тропинку под скалой и выехали на берег, где Аргут разливался шире и спокойнее. Я тоскливо смотрел на берег. Река бежит не так грозно, берег не крут, но она широка, и знакомой протоки все нет.

Мой спутник опять сравнился со мной и показывал что-то за рекой. Я ничего не видел. Наконец, мы приблизились к берегу, он начал выражать знаками, что мы должны спуститься. Я не решался: берег был крутой и не подходящий для брода, с него пришлось бы соскакивать, река была довольно широка для переправы. Враждебно, тревожно настроенный, я ожидал всего от этого дикаря и был готов при первых неприязненных действиях с его стороны защищаться.

Мы опять остановились. Иноходец издал поощрительный крик, очевидно приглашая меня броситься вброд. Я молчал... Вдруг он схватил мою лошадь под уздцы и заставил ее спрыгнуть в воду. Такой дерзости я не ожидал. Я вскрикнул, хотел схватиться за пистолет, хотел угрожать, но было поздно. Лошади стояли в воде, ноги их спотыкались и скользили на каменистом дне, река несла свои струи и кипела пеной. Я знал, что переправа на горных реках Алтая требует сноровки и осторожности: обыкновенно, спустившись в воду, лошадь не идет прямо,— течение для этого слишком быстро,— она идет по диагонали вверх по течению, а иногда, при большой воде и разливе, приходится пускаться и вплавь. Я никогда не испытывал переправы вплавь, но вброд не раз переходил алтайские реки и знал связанную с такими переправами опасность. А эта переправа внушала мне особенные опасения: что если незнакомец, в котором я подозревал врага, заведет меня на глубину и, дождавшись, когда лошадь поплывет, вступит со мною в борьбу или попросту начнет топить меня!..

Стиснув револьвер, единственное мое оружие, я держался

крепко за гриву и повод. Я слышал, как лошадь робко ступала по камням и как все сильнее и сильнее бурлили пенящиеся волны. Вода доходила уже до седла, хотя еще не покрывала его. Обыкновенно переправляющиеся в таких случаях приподнимают ноги, но мне было не до того... Я употреблял только все усилия, чтобы крепко держаться и не почувствовать головокружения. Опасность и напряжение придавали мне силы отчаяния. Я видел своего врага в нескольких шагах от меня, — он шел параллельно со мной, выше по течению, так что течение сильнее било в его лошадь, и мне уже доставались ослабленные струи. Наконец, мы достигли середины реки, и я с радостью увидел, что мы миновали глубь, дно поднималось, лошадь шла к берегу, и скоро я выбрался на твердую землю.

Мой спутник был опять подле меня. Он показался мне теперь менее опасным; он, повидимому, не подозревал, что происходило во мне, лицо его было добродушно, он весело улыбался, кивал головой и указывал нагайкой вдаль. И тут я понял все, — я понял, что этот человек вовсе не был врагом, и мне стало ужасно стыдно за себя. Мне стало стыдно за свой преувеличенный страх, за малодушие, за это геройничанье с револьвером в руках перед человеком совершенно мирным и спокойным.

Когда мы завидели вдаль наши палатки, я совершенно успокоился и поехал быстрее. Мой спутник и проводник скакал за мной, очевидно желая проводить меня до дому. Я уже не относился к нему более подозрительно. Но вдруг он остановил лошадь и крикнул мне что-то, как будто звал меня. Я остановился.

— Кам-агаг! Кам-агаг! — произносил он, указывая на холм и кусты, окружавшие нас. Я недоумевал. «Кам-агаг», — это значит дерево шамана*, иначе — священное дерево. Такие деревья почитаются инородцами, в них предполагается присутствие духов. Это обыкновенно — пихты с густою зеленью; они увешиваются лентами и другими украшениями. Осматриваясь во все стороны, я не замечал такого дерева, а между тем инородец-теленгит продолжал меня звать к холму. Я удовлетворил, наконец, его желанию, подъехал к холму и, к удивлению своему, увидел на холме русский деревянный крест. Инородец смотрел на меня довольный и как бы торжествующий. Он что-то говорил и энергично размахивал руками, но его речи и жесты мало разъясняли мне дело: я продолжал недоумевать, откуда на этом холме взялся крест и почему вид его приводит в такой восторг моего спутника. Наконец, дело разъяснилось: наклонившись ко мне, инородец раскрыл ворот халата и указал на свою грудь, несколько раз повторяя: «Кристу, кристу!». Я внимательно всматривался в эту темную грудь и, наконец, к крайнему моему удивлению, заметил маленький медный крестик.

Когда мы подскакали к нашему стану, дело окончательно вы-

* Ш а м а н ы — жрецы-волшебники у сибирских инородцев-язычников. (Примечание автора.)

яснилось из разговоров с переводчиками. Встретивший меня ино-родец-теленгит действительно был крещеный. Он был окрещен наезжавшим сюда с Телецкого озера миссионером, который поставил на холме и православный крест. К сожалению, «новокрещенный» не говорил ни одного слова по-русски. Он знал только одно слово «кресту», то есть я крещеный, я христианин. Я не буду разбирать, насколько мой «крещеный» был проникнут истинами новой веры, но несомненно одно, что он желал выразить мне симпатии единоверца; все его поведение, сначала робкое, потом, как мне казалось, навязчивое, объяснялось желанием высказать мне чувство расположения и проводить меня с почетом. Потому он над утесом давал мне дорогу, потому он и показал мне брод, которого я иначе бы и не нашел. Итак, вся история оказалась сплошным недоразумением. Меня охватил ужас при воспоминании, что я мог убить и чуть не убил человека совершенно мирного, не только не имевшего намерения сделать мне какое-либо зло, но даже стремившегося выразить мне свои симпатии.

Мне стало страшно и больно, но не только за самого себя, но и вообще за наше отношение к инородцу, за предубеждение против него и неспособность относиться к нему иначе, как к врагу. Ведь, может быть, в силу нашего непонимания языка, незнания чужой души, в силу нашего невежества, нашего страха, нашего эгоизма мы не раз стреляли в дружескую грудь, когда ино-родец, как мой теленгит, не питал к нам никаких враждебных чувств.

Мы сидели теперь около палатки, дружески беседуя. Наши люди воротились с поисков и нашли лошадей, которых никто не угонял, а которые сами отбились ночью от табуна. Значит — и в этом случае наши подозрения против инородца оказались неуместны.

Раскрасневшийся, улыбающийся, довольный, с сверкающими глазами сидел мой проводник и с любопытством рассматривал мою подозрительную трубу; он, смеясь, рассказывал переводчику, как я испугался, когда он взял моего коня под уздцы, как он помогал мне и старался, идя рядом, чтобы течение не сбило лошадь, как он смотрел, чтобы что-нибудь со мной не случилось. Он был доволен и весел, а я сидел перед ним с потупленными глазами...

Журнал «Мир божий», 1893, № 1.